



*Вику Ловеллу,  
который сказал мне,  
что драконов не бывает,  
а потом привел в их логово.*

... Кто из дому, кто в дом,  
кто над кукушкиным гнездом.

Считалка



## ЧАСТЬ I

Они там. Черные в белых костюмах встали раньше меня, справят половую нужду в коридоре и подотрут, пока я их не накрыл.

Подтирают, когда я выхожу из спальни: трое угрюмы, злы на все — на утро, на этот дом, на тех, при ком работают. Когда злы, на глаза им не попадайся. Пробираюсь по стеночке в парусиновых туфлях тихо, как мышь, но их специальная аппаратура засекает мой страх: поднимают головы, все трое разом, глаза горят на черных лицах, как лампы в старом приемнике.

— Вон он, вождь. Главный вождь, ребята. Вождь Швабра. Поди-ка, вождек.

Суют мне тряпку, показывают, где сегодня мыть, и я иду. Один огрел меня сзади по ногам щеткой: шевелись.

— Вишь, забегал. Такой длинный, яблоко у меня с головы зубами может взять, а слушается, как ребенок.

Смеются, потом слышу, шепчутся у меня за спиной, головы составили. Гудят черные машины, гудят ненавистью, смертью, другими больничными секретами. Когда я рядом, все равно не побеспокоятся говорить потише о своих злых секретах — думают, я глухонемой. И все так думают. Хоть тут хватило хитрости их обмануть. Если чем помогала мне в этой грязной жизни половина индейской крови, то помогала быть хитрым, все годы помогала.

Мою пол перед дверью отделения, снаружи вставляют ключ, и я понимаю, что это старшая сестра: мягко, быстро, послушно поддается ключу замок; давно она орудует этими ключами. С волной холодного воздуха она проскальзывает в коридор, запирает за собой, и я вижу, как проезжают напоследок ее пальцы по шлифованной стали — ногти того же цвета, что губы. Оранжевые прямо. Как жало паяльника. Горячий цвет или холодный, даже не поймешь, когда они тебя трогают.

У нее плетеная сумка вроде тех, какими торгует у горячего августовского шоссе племя ампква, — формой похожа на ящик для инструментов, с пеньковой ручкой. Сколько лет я здесь, столько у нее эта сумка. Плетение редкое, я вижу, что внутри: ни помады, ни пудреницы, никакого женского барахла, только колесики, шестерни, зубчатки, отполированные до блеска, крохотные пилюли белеют, будто фарфоровые, иголки, пинцеты, часовые щипчики, мотки медной проволоки.

Проходит мимо меня, кивает. Я утаскиваюсь следом за шваброй к стене, улыбаюсь и, чтобы понадежней обмануть ее аппаратуру, прячу глаза — когда глаза закрыты, в тебе труднее разобраться.

В потемках она идет мимо меня, слышу, как стучат ее резиновые каблучки по плитке и брякает в сумке добро при каждом шаге. Шагает деревянно. Когда открываю глаза, она уже в глубине коридора заворачивает в стеклянный сестринский пост — просидит там весь день за столом, восемь часов будет глядеть через окно и записывать, что творится в дневной палате. Лицо у нее спокойное и довольное перед этим делом.

И вдруг... Она заметила черных санитаров. Они все еще рядышком, шепчутся. Не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почувствовали ее злой взгляд, но поздно. Хватило ума собраться и лясы точить перед самым ее приходом. Их лица отскакивают в разные стороны, смущенные. Она, пригнувшись, двинула на них — они попались в конце коридора. Она знает, про что они

толковали, и, видно, себя не помнит от ярости. В ключья разорвет черных паразитов, до того разъярилась. Она раздувается, раздувается — белая форма вот-вот лопнет на спине — и выдвигает руки так, что может обхватить всю троицу раз пять-шесть. Оглядывается, крутанув громадной головой. Никого не видеть, только вечный Швабра Бромден, индеец-полукровка, прячется за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что немой. И она дает себе волю: накрашенная улыбка искривилась, превратилась в оскал, а сама она раздувается все больше, больше, она уже размером с трактор, такая большая, что слышу запах механизмов у нее внутри — вроде того, как пахнет мотор при перегрузке. Затаив дыхание, думаю: ну все, на этот раз они не останутся. На этот раз они нагонят ненависть до такого напряжения, что опомниться не успеют — разорвут друг друга в ключья!

Но только она начала сгребать этими раздвижными руками черных санитаров, а они потрошить ей брюхо ручками швабр, как из спален выходят больные посмотреть, что там за базар, и она принимает прежний вид, чтобы не увидели ее в натуральном жутком обличье. Пока больные протерли глаза, пока кое-как разглядели спросонок, из-за чего шум, перед ними опять всего лишь старшая сестра, как всегда спокойная, сдержанная, и с улыбкой говорит санитарам, что не стоит собираться кучкой и болтать, ведь сегодня понедельник, первое утро рабочей недели, столько дел...

— ... понимаете, понедельник, утро...

— Да, мисс Гнусен...

— ... а у нас столько назначений на это утро... так что если у вас нет особой надобности стоять здесь вместе и беседовать...

— Да, мисс Гнусен...

Замолкла, кивнула больным, которые собрались вокруг и смотрят красными, опухшими со сна глазами. Кивнула каждому в отдельности. Четким, автоматическим движением. Лицо у нее гладкое, выверенное,

точной выработки, как у дорогой куклы, — кожа будто эмаль телесного цвета, бело-кремовая, ясные голубые глаза, короткий носик с маленькими розовыми ноздрями, все в лад, кроме цвета губ и ногтей да еще размера груди. Где-то ошиблись при сборке, поставили такие большие женские груди на совершенное во всем остальном устройство, и видно, как она этим огорчена.

Больные еще стоят, хотят узнать, из-за чего она напала на санитаров; тогда она вспоминает, что видела меня, и говорит:

— Поскольку сегодня понедельник, давайте-ка для разгона раньше всего побреем бедного мистера Бромдена и тем, может быть, избежим обычных... э-э... беспорядков — ведь после завтрака в комнате для бритья у нас будет столпотворение.

Пока они оборачиваются ко мне, я ныряю обратно в чулан для тряпок, захлопываю дочерна дверь, перестаю дышать. Хуже нет, когда тебя бреют до завтрака. Если успел пожевать, ты не такой слабый и не такой сонный, и этим гадам, которые работают в Комбинате, сложно подобраться к тебе с какой-нибудь из своих машинок. Но если до завтрака бреют — а она такое устраивала, — в половине седьмого, в комнате с белыми стенами и белыми раковинами, с длинными люминесцентными трубками в потолке, чтобы теней не было, и лица всюду вокруг тебя кричат, запертые за зеркалами, — что ты тогда можешь против ихней машинки?

Схоронился в чулане для тряпок, слушаю, сердце стучит в темноте, и стараюсь не испугаться, стараюсь отогнать мысли подальше отсюда, подумать и вспомнить что-нибудь про наш поселок и большую реку Колумбию, вспоминаю, как в тот раз, ох, мы с папой охотились на птиц в кедровнике под Даллзом... Но всякий раз, когда стараюсь загнать мысли в прошлое, укрыться там, близкий страх все равно просачивается сквозь воспоминания. Чувствую, что идет по коридору маленький черный санитар, принюхиваясь к моему страху. Он раздувает

ноздри черными воронками, вертит большой башкой туда и сюда, нюхает, втягивает страх со всего отделения. Почуял меня, слышу его сопение. Не знает, где я спрятался, но чует, нюхом ищет. Замираю...

(Папа говорит мне: замри; говорит, что собака почуяла птицу, где-то рядом. Мы одолжили пойнтера у одного человека в Даллз-Сити. Наши поселковые псы — бесполезные дворняги, говорит папа, рыбью требуху едят, низкий класс; а у этой собаки — у ней *инстинкт!* Я ничего не говорю, но уже вижу в кедровом подросте птицу — съежилась серым комком перьев. Собака бегаёт внизу кругами — запах повсюду, не понять уже откуда. Птица замерла, и покуда так, ей ничего не грозит. Она держится стойко, но собака кружит и нюхает, все громче и ближе. И вот птица поднялась, расправив перья, и вылетает из кедра прямо на папину дробь.)

Не успел я отбежать и на десять шагов, как маленький санитар и один из больших ловят меня и волокут в комнату для бритья. Я не шумлю, не сопротивляюсь. Закричишь — тебе же хуже. Сдерживаю крик. Сдерживаю, пока они не добираются до висков. До сих пор я не знал, может, это и вправду бритва, а не какая-нибудь из их подменных машинок, но, когда они добрались до висков, уже не могу сдержаться. Какая тут воля, когда добрались до висков. Тут... кнопку нажали: воздушная тревога! Воздушная тревога! — и включает она меня на такую громкость, что звука уже будто нет, все орут на меня из-за стеклянной стены, заткнув уши, лица в говорильной круговерти, но изо ртов ни звука. Мой шум впитывает все шумы. Опять включают туманную машину, и она снежит на меня холодным и белым, как снятое молоко, так густо, что мог бы в нем спрятаться, если бы меня не держали. В тумане не вижу на десять сантиметров и сквозь вой слышу только старшую сестру, как она с гиканьем ломит по коридору, сшибая с дороги больных плетеной сумкой. Слышу ее поступь, но крик оборвать не могу. Кричу, пока она не подошла. Двое держат меня,



а она вбила мне в рот плетеную сумку со всем добром и пропихивает глубже ручкой швабры.

(Гончая лает в тумане, она заблудилась и мечется в испуге, оттого что не видит. На земле никаких следов, кроме ее собственных, она водит красным резиновым носом, но запахов тоже никаких, пахнет только ее страхом, который ошпаривает ей нутро, как пар.) И меня ошпарит так же, и я расскажу наконец обо всем — о больнице, о ней, о здешних людях... И о Макмерфи. Я так давно молчу, что меня прорвет, как плотину в паводок, и вы подумаете, что человек, рассказывающий такое, несет ахинею, подумаете, что такой жути в жизни не случается, такие ужасы не могут быть правдой. Но прошу вас. Мне еще трудно собраться с мыслями, когда я об этом думаю. Но все — правда, даже если этого не случилось.

Когда туман расходится и я начинаю видеть, я сижу в дневной комнате. На этот раз меня не отвели в Шоковый шалман. Помню, как меня вытащили из брильни и заперли в изолятор. Не помню, дали завтрак или нет. Наверно, нет. Могу припомнить такие утра в изоляторе, когда санитары таскали объедки завтрака — будто бы для меня, а ели сами — они завтракают, а я лежу на сопревшем матрасе и смотрю, как подтирают яйцо на тарелке поджаренным хлебом. Пахнет салом, хрустит у них в зубах хлеб. А другой раз принесут холодную кашу и заставляют есть, без соли даже.

Нынешнего утра совсем не помню. Насовали в меня столько этих штук, которые они называют таблетками, что ничего не сообщал, пока не услышал, как открылась дверь в отделение. Дверь открылась — значит, время восемь или девятый, значит, провалялся без памяти в изоляторе часа полтора, техники могли прийти и установить что угодно по приказу старшей сестры, и я даже не узнаю что!

Слышу шум у входной двери, в начале коридора, отсюда не видно. Эту дверь начинают открывать в восемь,

открывают-закрывают по сто раз на дню, тыт-тыр, щелк. Каждое утро после завтрака мы рассаживаемся вдоль двух стен в дневной комнате, складываем картинки-головоломки, слушаем, не щелкнет ли замок, ждем, что там появится. Больше-то и делать особенно нечего. Иногда один из молодых врачей, живущих при больнице, приходит пораньше посмотреть на нас до приема лекарств — ДПЛ у них называется. Иногда жена кого-нибудь навещает, на высоких каблуках, сумочку притиснув к животу. Иногда этот дурачок по связям с общественностью приводит учительниц начальной школы; он всегда прихлопывает потными ладошками и говорит, как ему радостно оттого, что лечебницы для душевнобольных покончили со старорежимной жестокостью: «Какая душевная обстановка, согласитесь!» Учительницы сбились в кучку для безопасности, а он вьется вокруг, прихлопывает ладошками: «Нет, когда я вспоминаю прежние времена, грязь, плохое питание и, что греха таить, жестокое обращение, я понимаю, дамы: мы добились больших сдвигов!» Кто бы ни вошел в дверь, это всегда не тот, кого хотелось бы видеть, но надежда всегда остается, и, только щелкнет замок, все головы поднимаются разом, как на веревочках.

Сегодня замки гремят чудно, это не обычный посетитель. Голос сопровождающего, раздраженный и нетерпеливый: «Новый больной, идите распишитесь». И черные подходят.

Новенький. Все перестают играть в карты и «монополию», поворачиваются к двери в коридор. В другой день я бы сейчас мел коридор и увидел, кого принимают, но сегодня, я вам объяснял уже, старшая сестра насовала в меня сто килограммов, и я не в силах оторваться от стула. В другой день я бы первым увидел новенького, посмотрел бы, как он просовывается в дверь, пробирается по стеночке, испуганно стоит, пока санитары не оформят прием; потом они поведут его в душевую, разденут, оставят, дрожащего, перед открытой дверью, а сами с ухмылкой забегают по коридорам, разыскивая вазелин. «Нам нужен вазелин, —

скажут они старшей сестре, — для термометра». А она то на одного глянет, то на другого: «Не сомневаюсь, что нужен, — и протянет им банку чуть ли не в полведра, — только смотрите не собирайтесь там все вместе». Потом я вижу в душе двоих, а то и всех троих, вместе с новеньким, они намазывают термометр слоем чуть ли не в палец толщиной, припевая: «О так от, мама, о так от», — потом захлопывают дверь и включают все души, чтоб ничего не было слышно, кроме злого шипения воды, бьющей в зеленые плитки. Чаще всего я в коридоре и все вижу.

Но сегодня сижу на стуле и только слышу, как его приводят. И хотя ничего не видеть, чувствую, что это не обычный новенький. Не слышу, чтобы он испуганно пробирался по стеночке, а когда ему говорят о душе, не подчиняется с робким, тихим «да», а сразу отвечает зычным смелым голосом, что он и так довольно чистый, спасибо, черт возьми.

— С утра меня помыли в суде и в тюрьме вчера вечером. И в такси сюда промыли бы до дыр, ей-богу, если бы душ там нашли. Эх, ребята, как меня куда-нибудь переправляют, так дряют и до, и после, и во время доставки. До того дошел, что услышу воду — сразу бросаюсь собирать вещички. Да отвали со своим градусником, Сэм, дай хоть оглядеться в новой квартире. Сроду не был в институте психологии.

Больные озадаченно смотрят друг на друга и опять на дверь, откуда доносится голос. А говорит зачем так громко — ведь черные ребята рядом? Голос такой, как будто он над ними и говорит вниз, как будто парит метрах в двадцати над землей и кричит тем, кто внизу. Сильно говорит. Слышу, как идет по коридору, и идет сильно, вот уж не пробирается; у него железо на каблуках и стучит по полу, как конские подковы. Появляется в дверях, останавливается, засовывает большие пальцы в карманы, ноги расставил и стоит, и больные смотрят на него.

— С добрым утром, ребята.

Над его головой висит на бечевке бумажная летучая мышь — со Дня всех святых; он поднимает руку и щелчком закручивает ее.

— До чего приятный осенний денек.

Разговором он напоминает папу, голос громкий и озорной; но сам на папу не похож: папа был чистокровный колумбийский индеец, вождь — твердый и глянце-вый, как ружейный приклад. А этот рыжий, с длинными рыжими баками и всклокоченными, давно не стриженными кудрями, выбивающимися из-под шапки, и весь он такой же широкий, как папа был высокий: челюсть широкая, и плечи, и грудь, и широкая зубастая улыбка, — и твердость в нем другая, чем у папы, — твердость бейсбольного мяча под обшарпанной кожей. Поперек носа и через скулу у него рубец — кто-то хорошо ему заделал в драке, — и швы еще не сняты. Он стоит и ждет, но никто даже не подумал ему отвечать, и тогда он начинает смеяться. Всем невдомек, почему он смеется: ничего смешного не произошло. А смеется не так, как этот, по связям с общественностью, — громко, свободно смеется, весело оскалась, и смех расходится кругами, шире, шире, по всему отделению, плещет в стены. Не ватный смех по связям с общественностью. Я вдруг сообразил, что слышу смех первый раз за много лет.

Он стоит, смотрит на нас, откачиваясь на пятки, и смеется, заливаясь. Большие пальцы у него в карманах, а остальные он оттопырил на животе. Я вижу, что руки у него большие и побывали во многих переделках. И больные и персонал — все в отделении ошарашены его видом, его смехом. Никто и не подумал остановить его или что-нибудь сказать. Насмеявшись вдоволь, он входит в дневную комнату. Теперь он не смеется, но смех еще дрожит вокруг него, как звук продолжает дрожать в только что отзвонившем большом колоколе, — он в глазах, в улыбке, в дерзкой походке, в голосе.

— Меня зовут Макмерфи, ребята, Р. П. Макмерфи, и я слаб до картишек. — Он подмигивает, запева-